

В далёкие семидесятые я, городской школьник, почти каждое лето гостил на каникулах у сродной бабушки в деревне на юге Красноярского края. Половину лета занимал сенокос.

В конце июня рослая трава уже нависала над колеями просёлочных дорог и была по коленям проезжающих мотоциклистов. Совхоз уже косил, но косить частникам, пока оставалась нескошенной трава государственная, директор не разрешал: чтоб «не путали» со своей.

– Эвон, Иван Константинович уже скопил клин по Мосинской дорожке, и Марьясовы закосились, а у нас хозяин ишшо траву не глядел, – говорила баба Катя через забор соседке – так, чтоб дед был поблизости. – Люди тишком уж начинают, а мы сидим ждѣ-ѣ-ём.

– Ага, ты лучше знашь, когда начинать, – огрызнулся тюкавший топором под навесом дед Миша.

– Я знаю! Я знаю, что ты не пошевелишься, пока тебя силком не погонишь! – как порох, взрывалась маленькая, вспльчивая баба Катя. – Только со мной зубатиться умешь!

Дед капитулировал и ретировался, а бабушка ещё долго рассказывала соседке о многочисленных и тяжких его преступлениях...

Наконец, не дождавшись директорского разрешения, дед Миша отправлялся на покос смотреть траву и проходил с краю пару прокосов – закашивался. А ещё через день-два приступали уже всерьёз.

Летом 197... года мне было пятнадцать – на покосе, где дорога каждая пара рук, уже работник. Тем более что косарей было всего двое: сам дед Миша да я, «фраер городской» (мои родные дед с бабушкой в тот год не помню по какой причине не приехали). Третий косарь, зять Сашка, приезжал на часок-другой после работы, помогал только вечерами.

\* \* \*

Ранним утром, когда на тесовой крыше избы ещё поблёскивала роса, а солнце только начинало пригревать, мы погрузили в люльку расхристанного Сашкиного «Иж-Юпитера» отпотевшую флягу с ледяной водой из колонки, пару литовок, деревянные грабли с отломанным зубом и прочий инструмент.

– Захочешь ись – ешь, деда не жди, – говорила мне баба Катя, опуская в люльку авоську с едой. – Он всегда наестся. Тут вот тебе шанежки, копчёно сало маленько, два яйца сварила, да в кульке карамельки. Ешь – вку-усны! А на деда не смотри, у него своя сумка налажена... Да гляди там, ить это лес, шутка дело! И платок на голову надевай, а то напечёт!

И баба Катя из-под руки посмотрела в голубое, без единого облачка, небо...

Надвинувший кепку на самые уши, дед Миша сел позади Сашки, я втиснулся в люльку рядом с охлаждающей колени жёсткой флягой, граблями и литовками, и, громыхая скарбом, мы выехали со двора. Закрывая ворота, баба Катя перекрестила нам вслед воздух, прошептала коротенькую молитву.

Покос был в пяти километрах в березнике голубевшем на увалах за деревней, в пологом логу с укромными полянками, куда сбегала едва видная в траве дорожка. Мы остановились, не глуша мотор. В траву на обочину выгрузили флягу, инструменты и сумки, Сашка без лишних слов щёлкнул скоростью и уехал, чтобы не опоздать на работу. А мы с дедом остались одни среди зелёного леса, трав, цветов и тишины. Как только смолк вдали треск мотоцикла, эта тишина с чуть слышным шелестом берёз и стрёкотом кузнечиков вновь сомкнулась над некошеными полянами.

Первым делом дед Миша уселся рядом с флягой прямо в траву, достал старый серебристый портсигар с «Беломором» и прожелтевшим мундштуком.

– Садись, покурим, – сказал он. – Работа не убежит, у бога дней много. Отдохни.

И, уставившись в одну точку, куда-то поверх шапок белоголовника, задымил папиросой. Всем своим независимым видом дед показывал, что тут, в лесу, никто нам не указ: хотим – работаем, хотим – отдыхаем. И пусть бабка ругается, что надо быстрее косить, а на покосе хозяева – мужики!

Я присел рядом и, чтобы не нарушать регламент перекура, взял в зубы травинку, чувствуя, как постепенно отходит замёрзшее, всю дорогу прижимавшееся к ледяной фляге колено. Мы сидели, слушали стрёкот кузнечиков и глядели на уходившее вдаль по логу, чуть колыхавшее развесистыми метёлками море нетронутой травы, которое нам предстояло скосить и убрать вручную. Оно разливалось солнечными полянами в окружении стройных берёз, сжималось и ныряло в тенистые коридоры под сень ветвей, вновь вырывалось на простор и скрывалось из глаз в вершине лога. Море непочатой работы. Прямо от наших ног трава, как неприятельское войско, стояла стеной, густая, с белеющими над ней шапками белоголовника и морковника, и лишь пара коротких прокосов на обочине, где закашивался дед, нарушала её девственную целину.

Пригретые солнцем, мы разомлели, не хотелось нарушать эту целину и тишину. И всё же надо было начинать.

Дед Миша докурил беломорину, тяжело перевалившись, встал на четвереньки, потом – на ноги.

– О-ох, – крикнул он. – Сядешь – потом не встанешь. Ты покаместь покури, траву не мни, я прокошусь к раките.

С флягой и сумками я остался на дорожке, а дед сделал длинный прокос до стоявшей посреди поляны развесистой ракиты, под которой был «стан» – сколоченная из жердей лавка-топчан. Прямой коридор с ровной щёточкой срезанной травы рассёк поляну, как стрела. Расширяя «плацдарм», дед выкосил еле видную в траве лавочку, сделал проход к росшим у подножия первых берёз кустам бадаложника. По свежей кошенине мы принесли к раките инструмент, сумки, а флягу затащили в бадаложник.

Учебный курс дед Миша уместил в трёх предложениях. Литовку прижимать

к земле пяткой, срезать траву короче, а носок, наоборот, приподымать, а то будет втыкаться в землю. Загрёбы, пока не научусь, делать маленькие – косить легче и прокос чище. Размахом тоже не увлекаться.

– Не торопись, – резюмировал дед. – Сколь скосишь – столь и ладно.

Давали мне литовку и раньше – побаловаться, но теперь надо было работать всерьёз. Стараясь прижимать полотно к земле, я пошёл второй прокос рядом с дедовым. Вж-жик! Полукруг срезанной травы лёг к моим ногам, с шапки дрогнувшего впереди белоголовника запорошили крохотные цветочки. Вж-жик! И белоголовник улёгся в скошенный волок. Вж-жик! Забыл про носок – с размаху воткнулся в землю, аж черенок хрустнул...

Правя бруском литовку, дед Миша искоса поглядывал на мои упражнения.

– Ничё, научисся. Коси... Я пойду на тот край.

Сутулая дедова спина в вылинявшей рубахе скрылась за колком, и оттуда слышался равномерный посвист литовки. Я остался один. Берёзы на опушке, трава, казалось, смотрели на меня в ожидании. Я сделал вид, что мне всё нипочём, и повёл прокос дальше, изо всех сил стараясь косить чисто.

Уже через пару минут первоначальная неуверенность начала отступала, я стал ободряться. Появился азарт. Я кошу!

Когда я докосил этот длинный, первый в своей жизни прокос, вместе с соседним дедовым он образовал уже широкую дорогу, разделившую травяное войско на две половины. Войско дрогнуло, началось его неохотное отступление!

Когда же был закончен третий прокос, руки у меня гудели, пот заливал глаза, а в наполненный тысячью ароматов воздух над поляной уже властно вторгался тонкий запах свежескошенной травы.

Я забыл про время, косил и косил, казалось, целую вечность. Вдруг рядом раздался голос деда Миши:

– Но, перекури. Пойдём поедим, поди, промялся...

На стане я черпанул из фляги полную поллитровую кружку – никогда ещё простая холодная вода не была такой вкусной!

\* \* \*

Дед Миша воевал с японцами на Дальнем Востоке, имел медаль «За отвагу», любимыми его ругательствами были «японский бог» и «японский городской», поэтому мне всегда казалось, что с Японией у него какие-то особые отношения. «Японского бога» он поминал часто: загадочный этот бог представлялся мне чем-то вроде желтолицего солнца с недобрыми узкими глазами и злобно перекошенным ртом. На самом же деле, кроме нескольких недель войны жарким августом сорок пятого, больше со «страной восходящего солнца» деда ничего не связывало. Демобилизовавшись, он вернулся в родную деревню и жил в ней безвыездно, а Японию и Китай не мог даже показать на карте. Когда же его просили рассказать про войну, отвечал коротко: «Да-а-а, повоевали...»

В послевоенном, полном овдовевших баб Спасском молодой фронтовик женился на сестре моей будущей бабушки – вдове Катерине, первый муж которой погиб под Москвой, но только в пятидесятые у них родилась поздняя дочь – Галка. Отвоевавшись, дед Миша без передышки, словно переходя от покоса к уборочной, впрягся в крестьянскую лямку, работал конюхом в колхозе, груз-

чиком, потом сторожем в сельпо... Работал без суеты и лишних слов, вкалывал в огороде, на покосе, в поле, под стрёкот июльских кузнечиков и свист зимних вьюг, день за днём, год за годом. Когда мои родные дед с бабушкой вместе со мной приезжали летом в Спасское, он всегда был на своём месте, как неотъемлемая часть этого мира: вытянувшаяся вдоль речки деревня, голубые горы березника и... дед Миша.

Дома дед Миша всегда находился на заднем плане, где-нибудь в стайке или в огороде, с топориком, вилами, лопатой... Когда мы приезжали, он встречал нас за деревней на автобусной остановке, помогал донести чемоданы, ставил их на крыльцо избы и со словами «пойду, надо управляться...» уходил в свои сараи и поднавесы, вновь пропадал на заднем плане. Баба Катя и Галка собирали в избе застолье, приходила родня, все обнимались, целовались и, когда уже садились за стол, мои бабушка или дед спохватывались:

– Катя, Мишу-то зови, де он?

– О нём не заботься, он найдёт, де выпить, – отвечала баба Катя. – Ему только подай!

Но всё же посылала за отцом Галку.

Дед Миша заходил в последний момент, когда все уже сидели с полными стопками.

– Миша, иди садись, эвон Дима подвинется, – приглашала его бабушка.

– Ничё, я тут, место есь, – дед Миша скромно садился с краю стола, поднимал свою стопку. – Но, с приездом!

– «С приездом!» – передразнивала баба Катя. – А в сельпо чей приезд отмечал? Знаш, Мария, тут явился пьяной в дым...

И начинала рассказывать бабушке и всем присутствующим, как на майские праздники «хозяин» три дня гулял, дома ничего не делал, а надо пахать огороды, и ей самой пришлось договариваться с трактором, и так далее, и тому подобное.

Дед Миша молча жевал, мерно двигая челюстями и угрюмо глядя куда-то поверх стола, лишь изредка нехотя огрызался:

– Но дак ага... Де это я валялся?.. А ты меня поила?..

Но долго не выдерживал и, хоть и не прочь был ещё выпить, ретировался на двор или в огород, на свой задний план.

– Ну, чего уж ты так, Катерина! – урезонивала сестру моя бабушка. – Он же по хозяйству всё делает.

– И-и-и, Мария, это он при вас такой смирный, а когда одне – знаш, как разговариват! – не унималась баба Катя. – Отлюдник, он людям и в глаза не смотрит, чё где договариваться – мне надо...

Дед Миша притерпелся, привык к такой жизни, как лошадь привыкает к хому и окрикам возницы, так же молча вёз свой воз – через дни, годы, десятилетия... Но и самая послушная лошадь, бывает, взбрыкивает, ей надо хоть иногда отдыхать. Приближение такого момента по одной ей известным приметам баба Катя научилась предугадывать заранее с точностью сейсмического прибора.

Да иногда это было и несложно. Поможет, например, дед разгрузить машину водки в сельпо – рассчитываются с ним «поллитрой». Спрячет он её где-нибудь дома в ограде и ходит, потягивает тайком. Бабушки смотрят: вроде выпивши дед, и вроде не с чего. Вот сходил в сарай, принёс дров печь затопить – силь-

ней от него напахнуло... Бабушки уже учёные, смекают, начинают исподтишка прочёсывать ограду. И находят злосчастную «поллитру» в сарае в дровах. Или в стайке, в курином гнезде. Или в бане под полком (дед Миша проявлял недюжинную изобретательность)... Но самым надёжным, беспроегрышным вариантом был огород, тут бабушки всегда терпели поражение. Спрячет дед бутылку в рослую, раскинувшуюся на пятнадцать соток картошку – ищи её там! Правда, это был риск, случалось, дед сам не мог потом отыскать тайник. Тогда «всплывал» он уже где-нибудь в сентябре, на копке картошки, конечно, со скандалом и всеми вытекающими для деда последствиями.

Но, когда деда разоблачали своевременно, улика тихо изымалась. Бабушки начинали исподтишка следить, что будет. Вот дед якобы за каким-то делом пошёл в сарай, обнаружил пропажу и осознал, что произошло. Можно было представить его обиду!

И вот тогда, когда отнимали последнюю в жизни радость, великое дедово терпение, наконец, лопалось. Баба Катя это предвидела.

– Смотри, Мария... ишь, хватился... ишь, ходит... а виду не пода-аст, – говорила баба Катя, подглядывая из окна избы за топтавшимся в ограде дедом. – А губы-то разъело... Смотри, ведь и усвистат сейчас... Но-ка пойду, он ведь огоро-дом по речке убежит!

Бабушки кидались наперехват, но поздно – деда и след простыл. Нет нигде – ни в ограде, ни в сарае, ни в огороде. Он словно растворялся в пышной картофельной ботве и загородном просторе. Уходил задами, берегом речки в большой мир, куда не доносились бабы Катины проклятья, где можно было, глотнув с мужиками обжигающей свободы, хоть на время отдохнуть от повседневного ярма.

Далеко в мир свободы дед, однако, не забегал, оседал поблизости, на выходящих к той же речке задворках родного сельпо... С раннего детства, слыша, как бабушки обсуждают деда, я запомнил, что «уйти в сельпо» – это плохо, хотя, в чём состояло дедово преступление, по малолетству не понимал. Позже бабушки объяснили: в том, что дед Миша пьёт там водку. Но на что гулял (денег у него не было), кто, по выражению бабы Кати, его там «поил» – оставалось загадкой. Сама баба Катя, при всей неужемности своего характера, в сельпо за дедом никогда не бегала: не укараулила – значит, не укараулила. «Сам явится!» И дня через два-три дед действительно являлся – похудевший и виноватый. Привычно выносил обрушивавшуюся на него бурю бабы Катиного гнева и вновь впрягался в свою бурлацкую лямку.

\* \* \*

Покос для деда Миши был пусть не таким обжигающим, но тоже глотком свободы. В лесу никто не пилил, не срамил, и, хоть в сенокосный сезон дед старался не употреблять, на вольных лесных полянах и без водки чувствовал себя несравнимо лучше, чем дома. Здесь он жил в полном согласии с землёй, небом и самим собой, и в глубине угрюмых глаз его иногда, как мимолётная зарница, вдруг пробежала озорная искра, и он выдавал какую-нибудь прибаутку.

Когда, разобрав налаженные бабой Катей сумки, мы пообедали, дед полез в карман за портсигаром и с той самой искрой в глазах заявил:

– Но вот, теперь можно дюзить наравне с голодным.

– Ага...

В блаженной истоме я растянулся на тёплой земле, на упругом ёжике коше-нины, и, закинув руки за голову, смотрел в бездонное небо, в глубине которого выписывал круги крошечный ястребок. Всё разомлело от жары, смолк даже шёпот леса, и в этом впавшем в полуденное оцепенение мире ястребок остался единственной живой точкой...

Перекурив и передохнув, мы пошли косить дальше.

– Коси потихоньку, – ещё раз предупредил меня дед. – Завтре тяжело будет, второй день болеш.

Так, с перекурами, мы работали до тех пор, пока солнце не начало клониться к дальнему лесному гребню, а в противоположную сторону по широким полянам потянулись тени берёз.

Тяжело шагая, дед Миша вышел из-за своего колка, рядом шагала, ломалась на скошенных волках его длинная тень.

– Но, хватит на сёдни, – сказал он, глянув на мою работу. – Покурим, да надо собираться. Пока дойдём...

Когда мы вышли из леса на полевой простор, оказалось, что день, который в лесном логу уже превращался в вечер, здесь задержался. Солнце ещё высоко стояло над дальними увалами, над лугами, накалённой за день землёй зыбилось марево.

Мы шли навстречу солнцу, в волнах тёплого лугового воздуха с кучками толкущейся мошканы. Каждая травинка, каждая мошка горели расплавленным золотом. Золотом наполнилась предвечерняя даль, где виднелась полоска светлых деревенских крыш, среди которых была и неразличимая отсюда наша крыша.

Дед Миша шёл тяжело, шаркая галошами в тёплой пыли луговой дорожки, надвинув на глаза кепку. Я плёлся рядом...

Когда мы уже подходили к дому и сворачивали к речке, по другому берегу которой тянулись заросшие жалицей зады огородов, дед Миша вдруг сказал:

– Знать-то бабка встречат.

На зелёном квадрате нашего огорода я увидел тёмное пятнышко – бабу Катю.

Пока мы переходили по мосткам речку, открывали калитку, шли по длинной огородной тропинке, баба Катя стояла возле огуречных гряд и, освещённая ко-сым солнцем, из-под руки смотрела в нашу сторону.

– А я выглядываю – идут ли нет. А потом уж от дойки-то вижу – знать-то оне, – ещё издали сообщила она, а когда я подошёл, взяла у меня полупустую авоську. – Но, как поработал? Пристал?

– Не... так, немного.

– Давай мойся да пойдём ись, я пирожков напекла.

Я зашёл в ограду, сел на лавочку возле летней кухни, разулся, вытряхнул из созревших кедров лесной мусор и почувствовал, что не могу больше шевельнуть ни ногой, ни рукой. Хотелось сидеть вечно – сидеть и смотреть на окружающий мир. Измученное, пропитанное лесным воздухом тело парило в невесомости, сливалось с землёй и небом.

Я смотрел на мир. За воротцами виднелись просвеченный солнцем кусок огорода и заречного луга, уходящие вдаль лесные горы, над которыми уже

робко высунулась из небесной голубизны половинка полупрозрачной луны... А рядом над кустом малины плясали мошки... Над трубой бани искривлялось пространство, дрожал горячий воздух: баба Катя подтопила, чтоб мы с дедом ополоснулись после работы... А вон в солнечном квадрате огорода маячит сам дед: коромыслом таскает с речки воду, поливает грядки... Отстранённо проплыла мысль: «Как он ещё шевелится! Почему я не могу?»

Подошла, села рядом баба Катя:

– Но, знать-то совсем умаялся. Иди мойся, потом отдохнёшь.

Но я собрал остатки сил, встал и заявил:

– Пойду помогу деду.

– Да ты сёдни устал, не ходи. Дед польёт, он привышной...

Но огород мы с дедом дополивали вместе.

\* \* \*

Баба Катя была человеком добрым и жалостливым. Она жалела всех – от дальнего родственника, славшего письма с другого конца страны, до героинь киношных мелодрам, а меня, летами пребывавшего под её опекой, баловала и любила, как родного внука. Вот только беспокойным, горячим характером своим никак не сходилась с дедом Мишей – молчуном, работягой и любителем выпить. Что бы он ни делал – всё раздражало бабу Катю, но это раздражение доставалось исключительно одному деду, не причиняя вреда другим.

Бабушки мои со стороны отца вышли из многодетной крестьянско-казачьей семьи, хлебнули и революций, и колхозов, и тяжких военных лет. Бабе Кате, одной из старших, с детства пришлось походить в няньках по чужим семьям и деревням, ворочать непосильную работу в колхозе, а в начале войны она получила похоронку на первого мужа... О бабы Катиной жизни лучше всяких слов говорили её руки – в узлах выпирающих вен, с крупными кистями, с раздутыми суставами загрубелых, изуродованных работой и ревматизмом прокуренных пальцев (баба Катя курила с войны).

Но ни тяжкий труд, ни военное лихолетье с похоронками – никакие «крутые горки» не смогли «укатать» неуёмный бабы-Катин нрав: она успевала и работать, и с домашним хозяйством управляться, и в самодеятельных спектаклях в клубе играть. В шестьдесят лет, ходя по ягоду, она ещё без труда могла забраться на высокую черёмуху, если видела рясные ветки, а летом её небольшой домишко становился весёлым и многолюдным – съезжались, гостили до самой осени бабы Катини сёстры, мои бабушки.

Когда Галка вышла замуж и у них с Сашкой появилась маленькая Любашка, забот у бабы Кати стало ещё больше. Молодые переехали в новый совхозный двухквартирник на соседней улице, с раннего утра и допоздна пропадали на работе в мастерских, а внучку, как водится, воспитывала бабушка.

Дом, хозяйство, семья – всё было на бабе Кате. С раннего утра она уже топталась на летней кухне, готовила на всех завтрак или стояла с длинной лопатой-садником в избе у русской печи, пекла шаньги и калачи. За стол, если, вдобавок, гостила родня, садилось человек до семи-восьми... А потом надо было перемыть посуду, потом – полоть в огороде грядки, стирать бельё, в обед схо-

дить на пастбище подоить корову, и так – до самого вечера. Хлопочет баба Катя по хозяйству, не присядет. Только когда затылок от жары разломит или поясница совсем отнимется – приляжет в избе, передохнёт минут десять и бежит по делам дальше.

После колхоза баба Катя работала продавцом, парикмахером, на других высоких должностях и всё мечтала: выйдет на пенсию – будет отдыхать. А вышла – и вздохнуть некогда.

Ну, а в сенокосную пору и подавно. Бабе Кате надо было успевать и деда ругать, что медленно косит, и на покос его и меня собирать-отправлять, и со всем хозяйством одной управляться. А когда мы вечером возвращались и, падая на лавочку, я думал, как же я устал, баба Катя на минутку присаживалась рядом и говорила:

– Отдохни, сёдни пристал. Ить косишь – шутка-дело.

И спешила дальше.

\* \* \*

И полетели, посыпались, как цветки с тронутого ветром белоголовника, удивительные дни. Похожие друг на друга, они сливались в один большой, наполненный тяжёлой работой и жарким солнцем весёлый день.

Начинался он с тонкого солнечного лучика, проникавшего в дырку от выпавшего из стены сучка в кладовке-пристройке бабы Катиной избы, где я спал на свежем воздухе. Лучик тянулся через полумрак кладовки, и, проснувшись, я определял по нему, какая на дворе погода. Если пылинки в нём роились золотыми мошками – хорошая, если лучик был бледным – солнце в облаках. В те памятные дни в нём почти всегда плавали золотые мошки.

Я одевался и поскорее выходил из тёмной кладовки в большое жаркое лето. Деда Миши к этому времени уже не было: рано утром перед работой его отвозил на покос Сашка, а я дрыхнул долго.

С полотенцем через плечо я бежал на речку умываться. Толкал скребущие по земле воротца в огород, и распахивался простор: море зацветающей картошки, загородные луга, уходящие вдаль лесные горы в утренней дымке... В лучах поднимающегося солнца на изгородях, как языческие птицебоги, чернели силуэты ворон.

Вспугивая птицебогов, чувствуя, как бьют по ногам нависшие над тропинкой картофельные плети, я бежал к далёкой калитке, проскальзывал в неё и в просвет разросшейся за изгородью жалицы, выскакивал на берег речки. Вожак отдохавшего на травке косяка гусей издавал тревожный крик, гуси вставали с насиженной травки, вперевалочку ковыляли к воде и один за другим, брезгливо тряся хвостами, отплывали от берега. Их возмущённо гогочущая флотилия пукала волну, которая ломала висевшие в небе отражения мостков.

Я сбегал на мостки – кинутую на тракторную покрывку плаху: из-под неё врассыпную кидались водомерки, веером разлетались по дну тени пескарей и усатиков. Внеся таким образом смятение во все три царства – небесное, наземное и подводное, довольный произведённым впечатлением, я умывался, радовался горящему на перекатах утреннему солнцу.

После завтрака баба Катя вручала мне авоську с едой, неизменно напутство-



вала, чтобы в лесу не забывал надевать на голову платок и косил потихоньку. Провожая меня, она выходила в огород, долго смотрела из-под руки, как я исчезал за калиткой на речку, потом выныривал на луг уже на другом берегу...

Весело шагало утром по широкому лицу земли, и поднимающееся солнце снова светило в лицо, но уже с противоположной стороны. Уже дрожали в нагревающемся воздухе луговая даль, увалы на горизонте, гремели в траве кузнечики. Я, опоздавший, торопился скорее присоединиться к деду Мише, занять своё рабочее место в этом давно полыхавшем дне, где каждая козявка с раннего утра добросовестно трудилась, выполняла свои обязанности, и все, кроме меня, уже были при делах.

Добравшись до «рабочего места», я хватал литовку, спешил на помощь деду.

Как он и предсказывал, в работу я втянулся: на второй день всё тело болело, на третий – уже меньше, потом всё прошло. Я гордился, что выдерживаю работу взрослого мужика, и каждый прожитый на покосе день был для меня чем-то вроде олимпийского рекорда.

Через несколько дней моя кошенина уже начала походить на что-то потребное.

Постепенно я постигал, что ручная косьба – это целая бездна. От деда я узнал, что, например, трава полевая – крепче лесной, косить её тяжелее. А когда траву положит ветром, надо заходить косить с противоположной наклону стороны, а если повияло, как попало – крутиться по-всякому. А самая вредная трава – волосец: мягкая, проскальзывает под литовкой, ничем не возьмёшь...

Я старался. Учился скашивать спутанные ветром участки, пытался срезать припадавший к самой земле проклятый волосец, резал пальцы, не привыкнув ещё править бруском острое полотно литовки...

Втянувшись в тяжёлую, монотонную работу, мы с дедом разговаривали мало. Весь долгий жаркий день – лишь стрёкот кузнечиков да тихий шелест берёз. Мне казалось, что лес, кузнечики, мы с дедом сливаемся в единое целое, в одну бесконечную, тихую мелодию... Но когда ближе к вечеру приезжал Сашка и в лугу раздавался стук мотоциклетного мотора, целое распадалось, мелодия смолкала.

Зычный Сашкин голос сразу взбудораживал неторопливое течение нашего рабочего дня. В завязанной узлом на коричневом животе рубахе, весь из себя крутой, Сашка строго глядел на мою кошенину:

– Чё-то хило у тебя подвигацца. Броднями быстрее надо двигать!

И, беря литовку, весело добавлял:

– Учись, пока я жив!

Косил он, конечно, лучше меня, но до деда и ему было далеко...

Однако, на послеобеденных перекурах, когда всё в лесу примолкало от жары, мы с дедом, сидя в тени ракиты, иногда вели серьёзные разговоры «за жизнь». Однажды, без особой надежды, я попросил его рассказать про войну, и, к моему удивлению, он рассказал. Оказалось, дед штурмовал Большой Хинган.

– И в боях участвовали?

– Но... – дед пускал из ноздрей дым, по обыкновению мрачно глядя перед собой.

– А расскажите!

– Но... – дед задумался, помолчал. – Вот был бой... Я был пулемётчик второй номер... Первый номер стрелял, я ленту подаю.

Дед снова помолчал.

– Вот его убили, пуля прямо в лоб... Смотрю – убитый... Но, я стал первый номер, встал вместо него.

На этом дед рассказ закончил, а я, глядя в раскинувшуюся над нами голубую пустыню неба, увидел, как посреди неё вместо солнца злобно кривится узкогубым ртом разъярённый японский бог, не может простить деду его победу...

После обеда рабочий день продолжался в том же духе: мы косили, кузнечики стрекотали, пчёлы гудели и лазили по цветам, ястребок в поднебесье выписывал круги, а солнце, злой японец, катилось и катилось в небесной синеве – всё дальше от утра, всё ближе к вечеру. Огромный день полыхал, и миллионы его больших и маленьких тружеников, от солнца до муравья, напрягались, упирались вместе с нами, выполняя каждый свою работу.

Наконец подуставшее светило переходило на другую половину неба, повидало над дальним лесным гребнем в вершине лога, и невидимая пружина, приводившая в движение все валы и шестерёнки дня, начинала ослабевать. Жара нехотя спадала, уже не так яростно звенели кузнечики, мы с дедом всё чаще останавливались, чтобы поправить бруском литовку и немного передохнуть.

Когда в логу начинали расти тени и запедала вечернюю песню иволга, мы шабашили и, если не приезжал Сашка, шли домой пешком.

Дома я, как в первый день, валился на лавочку у летней кухни, долго сидел неподвижно, глядя на просвеченный вечерним солнцем мир, на видневшийся в открытые воротца кусок огорода, где маячила худошавая фигура деда Миши, уже поливавшего грядки. И далеко не всегда у меня хватало сил встать и помочь. Баба Катя каждый раз парализовывала мою волю – садилась рядом и говорила:

– Отдохни, сёдни пристал... Дед польё-ёт, он привышной. Подём, я шанежек напекла...

А долгий летний вечер продолжался. Поев бабы-Катиных шанежек, я быстро воскресал и бежал в клуб в кино, после – с приятелями на вечерку. Мы колобродили по деревне или жгли костёр и тренькали на гитаре где-нибудь за огородами, а над дальними увалами догорало золотое зарево: уходил огромный, отполыхавший, наконец, июльский день.

Когда я возвращался, над головой горело небо уже звёздное, в тёмном доме все спали. Но, случалось, дед Миша, припозднившись, ещё курил на крылечке перед сном.

– Но, набегался? – спрашивал он, пуская дым в темноту, куда-то вверх, на отчётливо-ясный, как тропинка, Млечный Путь. – Завтре добрый день будет, солнце чисто закаталось. Иди отдыхай, да залаживаться буду...

Быстро пролетала короткая ночь, и не успевала остыть прокалённая солнцем земля, как над ней всходило солнце нового, такого же жаркого дня. И всё повторялось.

\* \* \*

Кошенина сохла быстро, начинала «шуметь». Там, где недавно была трава, теперь лежали чисто, до самого подножия берёз выкошенные поляны с креп-

ким, как настоявшийся чай, запахом подсыхающего сена. Разлинованный валками, лог стал просторным и гулким.

Вечерами, когда я убежал в клуб, а над деревней стояли огромные, в полнеба, закаты, дед Миша, переделав хозяйственные дела, сидел на своём заднем плане, где-нибудь на брёвнах у сарая, дымил беломориной и глядел, как уходило в дальние увалы похуже на каплю расплавленного металла солнце. Приближалась уборка, дед следил, чтобы солнце «закаталось ясно», с чистого небосклона. Не дай бог заката мутно-красного – к ветру и дождю...

Переворачивать и сгребать сено – дело женское. В один прекрасный день, оставив Любашку на попечение сватьи-свекрови, в логу появились баба Катя с Галкой, и нашей с дедом лесной песне пришёл конец. Сразу выяснилось, что на покосе всё неправильно, дед Миша всё делает не так. Он и черёмуховый колокол плохо обкосил (оставил хорошую траву), и сено проспал (скоро врастёт, надо было раньше начинать убирать), и флягу с водой худо в кустах спрятал, и так далее. Голос ругавшей деда бабы Кати разносился далеко по логу.

Покос сразу стал другим. Он наполнился посторонними шумами, напряжёнными производственными отношениями, которые мы вдвоём с дедом раньше сводили к пяти-десяти словам в день.

– Оно ишо волгло, его после обеда ворошить надо – нет он с утра начинат! – ворчала баба Катя, переворачивая граблями припавший к земле, слежавшийся валок, из-под которого разбегались в разные стороны потревоженные голенастые пауки. Сухой сверху, снизу он ещё кое-где поблёскивал остатками росы.

– Солнце, ветер – счас просохнет, чё его ждать! – возражал дед Миша.

– Да тебе лишь бы скорее! Загорят копны – будешь назад разбрасывать!

Но покрывшие поляны, как взъерошенная шерсть, перевёрнутые валки под лёгким ветерком действительно быстро подвляли и зашуршали.

– Солнце, ветер... – бубнил дед Миша, раструсивая граблями волглые подбрюшья волков. – Маленько подвеет – будем согребать...

В этот день мы с дедом уже не вели на перекурах серьёзных бесед, не слышали песни берёз. До самого вечера шелестели укладываемые в копны навильники душистого сена, гуляло в логу эхо голосов, колол под рубахой потное тело налипший сеной мусор. Поляны покрывались свежими копнами, в которых тихонько потрескивало оседавшее сено, и продолжали стрекотать кузнечики. В логу сразу стало уютно.

Сгребая валки, баба Катя срамила деда из-за каждой копны. Одну он, по её мнению, «ложил» криво, и она должна была упасть, в другую кидал сырое сено, третью ставил не там, где надо... Дед молча пыхтел, таскал навильники, изредка бубнил под нос:

– Ну, упадёт – упадёт, на земле останется, вверх не улетит... Мы ложим – сено сухо, она пришла – у ей мокро образовалось...

Подцепив тяжеленный навильник, ловко перевалив его на упёртые черенком в землю вилы, дед пару секунд переждал, пока с него облетали мелкие листики и труха, потом, крикнув, поднимал почти целиком скрывавшую его гору сена, нёс и с перевёртом, чтоб легло аккуратным пластом, укладывал в копну. А, когда мне, старавшемуся не отставать, тоже удавалось подцепить приличный навильник, баба Катя каждый раз говорила:

– Не бери столь – тяжело. За дедом не гонись, он всю жизнь сено ворочат.

В горячке работы мы не сразу заметили, как уже под вечер из-за верхушек берёз, очерчивавших безмятежно голубое небо над логом, вдруг показался край облака. Тихо, будто крадучись, он выползал всё больше, превращался в тёмнобрюхую громаду, надвигавшуюся на лог, словно крышка. Вспыхнув расплавившимися краями, облако «съело» солнце, на разомлевшие от жары поляны упала тень, и, приятно холодя пылающее тело, дохнул ветерок. Где-то глухо рокотнуло.

– Гром ли чё ли? – баба Катя из-под руки глянула на горящие края облака.

– От ведь дотянул!.. Пока погода была – мы жда-али, теперь в дождь убирать будем...

Напрасно дед оправдывался, что вчера солнце «ясно закаталось», что по радио дождя не передавали. Факт был налицо, и, конечно, в этом необыкновенном явлении виноват был только он – дед Миша.

Вслед за облаком надвинулась сизая туча, в лесу стало сумрачно, как вечером. Примолкли птицы. Только мы сложили очередную копну, как брызнул дождь.

Пережидали его, сидя под копной, зарывшись спиной в душистое сено и слушая, как он тихо шуршит по уже перевернутым, но не успевшим попасть в копны волкам. Дождик хоронил наш дневной труд.

Вернулась мокрая, бегавшая на стан закрывать сумки и вещи Галка, плюхнулась рядом со мной, сунула кулаком в бок:

– Чё, сахарный ли чё ли, размокнуть боишься!..

Гроза быстро кончилась, выглянуло солнце, но работать было уже нельзя. Дождик, как выразилась баба Катя, только «нагадил» – землю путём не полил, а сено намочил.

\* \* \*

Но назавтра, на наше счастье, погода снова установилась.

Когда скопнили оставшееся сено, мы с дедом опять взялись за литовки – докосить последние полянки в вершине лога. Снова один за другим летели горячие дни, только в них появились новые детали, словно прошедшие дожди смыли часть красок прежнего лета, взамен принеся другие.

В небе, прежде безмятежно ясном, теперь всё чаще плыли горы величественных облаков, пятная лёгкими тенями лес и поляны, то и дело подавал голос далёкий гром. Грозы ходили неподалёку, иногда выкатывали тёмной стеной на горизонт, стояли в раздумье, потом нехотя сворачивали в сторону и проплывали мимо. Мы косили, а где-то над нами в клубящихся, полных таинственного движения небесах медленно переламывалось лето. Ильин день был не за горами.

Баба Катя переживала, что пойдут дожди, сего погнёт.

– Чё вот ты копны эти клал – прольёт дождь и всё! – пилила она деда. – Свози-ли бы волокушей да сразу сметали!

– В копнах лучше вылежится, – угрюмо отвечал дед.

А далёкий гром не унимался, бормотал и бормотал где-то за лесом – за горами, за долами поспешал грозный Илья-пророк, издали предупреждая о своём приближении. Мне тоже было немного тревожно.

- Деда Миша, гром ударил, – говорил я деду на перекуре.
- Но и што?
- Копны прольёт.
- Прольёт – просушим, – пуская дым через нос, невозмутимо отвечал дед.
- Надо успеть убрать.
- Успем. У бога дней много.

И я ободрялся, мне передавалось несокрушимое дедово спокойствие. Вдруг становилось легко и хорошо. Хорошо, что над полянами плывут величественные облака, что где-то погромыхивает гром, что над тёплой землёй, опустив в поля тёмные рукава дождей, ходят грозы! И что у бога много таких чудесных дней!

Несколько раз нас всё же помочили дожди, но, к счастью, они не были тяжёлыми.

Наконец, мы докосили, потом скопнили оставшееся. Всё сено, сухое и чистое, теперь стояло в копнах, а сверху плыли грозные кучевые облака, из которых каждую минуту мог пойти дождь.

Остался «последний бой» – сметать зароды. Об этом дне я думал, как о празднике. Уж после отдохну, покупаюсь, поезжу на рыбалку!

\* \* \*

С утра было душно, из-за горизонта вставала свинцовая хмарь, и на её фоне ярко желтели позолочённые солнцем дальние поля. Погромыхивал гром.

В бабы Катином доме всё было вверх дном. Мы то лихорадочно собирались, то останавливались, выбегали в огород поглядеть на темнеющий горизонт и раздумывали: ехать или нет? Но тьма над полями вроде начинала уходить в сторону, и мы кидались продолжать сборы. Тем более, что уже было договорено насчёт «помочи» с двумя соседскими мужиками.

Дед, которого за утро баба Катя уже испилила за то, что выбрал для мётки «хорошу погоду», наконец, плюнул, помянул японского бога, посадил в телегу соседей-помощников и на взятой в сельпо лошади уехал первым. Следом, беспрестанно поглядывая на небо, на Сашкином мотоцикле двинулись мы. Хоть хмарь на горизонте сваливалась вбок, с другой стороны наплывали недоброго вида облака, нависая над нами сизыми, переполненными влагой подбрюшьями.

– Господи милостливый, дай сметать без дождя! – глядя на них, крестилась баба Катя.

Когда мы приехали, дед уже распряг лошадь, а мужики успели срубить две берёзы и, развалив ближайшую копну, споро расчинали на них первый зарод. Не теряя времени, Сашка присоединился к ним, баба Катя с Галкой пошли подскребать, мы с дедом – возить копны.

Наш лог снова стал многолюдным, наполнился весёлым эхом голосов, залившимся лаем прибежавшего с нами бабы-Катиного Жульки.

Свозив к зароду ближние копны, мы с дедом отходили ко всё более дальним, поднимались вверх по логу. Подцепив приземистую, слезавшуюся копну под самый низ верёвкой, дед привязывал оставшийся конец к постромку сбруи, я, копновоз, трогал коня и вёз сено на главную поляну возле стана. Мерно топая, Карька шагом тащил копну, из-под которой выскакивали скрутившиеся веретёна-жгуты сена, передо мной, покачиваясь в такт с конской спиной, проплывали

опустевшие поляны. Откипели на них сенокосные страсти, лежали они просторные, притихшие, и сиротски неприкаянно никнул головой уцелевший у подножия обкошенной черёмухи розовый куст иван-чая. «Вот и всё. Прощай, брат!», – думал я каждый раз, проезжая мимо сиротливого иван-чая.

Но чем ближе я подъезжал к становой поляне, тем бодрее становилось вокруг, всё явственнее долетали до меня весёлые голоса. Вот что-то сказал, гоготнул Сашка... Взлаял Жулька... Вот, наконец, из-за колка показался сам уже приподнимавшийся над копнами зарод, по которому вперевалку ходила Галка, утаптывала сено... Распалённые работой мужики ворочали тяжёлые навильники, подначивали друг друга, прыскала в кулак Галка...

На обратном пути я старался пустить Карьку рысью – дорога была каждая минута. Поджидавший меня у очередной копны дед Миша поглядывал на вываливавшие из-за верхушек берёз грозовые облака, угрюмо молчал. Изредка спрашивал:

– Но как там?

Я говорил – как...

Когда я вёз последнюю копну, на которой, пристроившись сзади и держась за верёвку, ехал дед, из очередной тучки брызнул-таки дождик. У зарода дед схватился за вилы:

– Серёдку забивай!

Но мужики и сами знали, что делать, торопливо кидали сено в середину зарода, чтоб не пролило. Запарившаяся Галка не успевала утаптывать.

Однако дождик снова нас пожалел, скоро перестал. Выглянуло солнце.

– Припугиват, – кидая навильники, ёрничал Сашка. – Чтоб быстрее шевелились...

После обеда, пока мужики домётывали первый зарод, мы с дедом неподалёку расчали второй. Дед выкладывал края и углы, а мне сказал «бить серёдку». Со слежавшихся копён сено бралось тяжёлыми пластами и, чистое, душистое, со звенящим шелестом укладывалось в зарод, как в мягкую постель. Ложились в эту постель моря белоголовника и озёра клевера, буйные поляны, казавшиеся такими недоступными, когда мы с дедом смотрели на них в первый день покоса, ложилось горячее июльское солнце-японец, откипевшие волнения, пролитый пот. День за днём вымётывалась в два красивых стога вся наша маленькая покосная жизнь.

Стога-зароды росли быстро. Первый, снизу казалось, уже упирался вершиной в тучи-облака и там, в облаках, ходила с граблями сменившая Галку баба Катя – вершила. Когда зарод сметали и обчесали и вершильщица, охая, спустилась по верёвке с небес на землю, присели на короткий перекур. Умаявшаяся баба Катя тяжело села под зарод рядом со мной. Сняла с головы платок, вытряхнула из складок сенную труху:

– Слау бох, один есь, а ноги уж не ходят... Дал бы теперь ишшо второй доклась... Но чё, пристал?

– Не-е. Так, маленько, – не сознавался я, чувствуя, как гудят руки и ноги.

– Бог даст, сёдни сметам – отдохнёшь. Я пирожков напекла с луком, с яйцам, приедем домой – поешь... Рубаху-ту звать-то порвал, – она потянула за надорванный где-то рукав моей рубахи. – Дома брось в бане – я зашью...

После перекура все взялись за второй, последний, зарод. Меня посадили топтать.

С четырьмя мётчиками зарод рос на глазах, меня со всех сторон заваливали сеном. Утопая в нём, я бродил, ползал по широкой, упруго-колышащейся, как палуба корабля, спине зарода – не успею дойти и притоптать один навильник, как с другой стороны уже летит другой, а то и оба сразу.

– Ходи не падай, – подначивал снизу Сашка. – Завалим – не откопашься!

Дядя Серёжа и дядя Вова, кидая навильники, тоже говорили разные при- словья. Один дед Миша, уже перешедший на длиннющие стогомётные вилы, как всегда, работал молча, лишь изредка бубнил: «Ложу в ямку, де стоишь!» или «Прими с того лба...»

– Дя-а Миша, на ту сторону перебрасывашь! – подшучивали мужики.

Я поднимался всё выше, воспарял над кустами и полянами и, казалось, скоро тоже буду задевать тучи. Зарод выходил высокий, Сашка уже интересовался, не видать ли с него Москву. Москву я не видел, но привычный мир – лес и покос – с высоты выглядели другими. Почти вровень со мной величественно пока- чивались горы зелёных листьев – вершины ближайших берёз, широко лежали вокруг выкошенные поляны, а прямо под ногами, у подножия зарода, словно на глубоком дне, ходили сильно уменьшившиеся в размерах баба Катя с Галкой и мужики, которые уже с трудом доставали вилами до моей вершины. Я был один в вышине, парил над всеми, давал указания, какой навильник куда класть, и мне казалось, я долго-долго, много дней, а, может, даже лет разбегался и, наконец, поднялся в воздух! Лечу над кустами, полянами, над тёплой летней землёй вме- сте с бабочками, шмелями, мошками...

Даже когда меня вернули с небес, а вершить зарод залез дед Миша, я ещё долго летал, никак не мог приземлиться.

– Ну, слау те, – опершись на грабли, баба Катя глядела на почти завершённый зарод, крестила его и шептала молитву. – Отметались.

В это не верилось. Сколько раз заходили тучи, всё висело на волоске, но день продержался! Услышали на небе бабы-Катины молитвы.

Когда дед Миша принимал последние навильники, из-за туч вдруг выгляну- ло предвечернее солнце. Косыми золотыми лучами оно торжественно осветило поляны, высокий стройный зарод и победно стоящую на его вершине малень- кую дедову фигурку...

Спустившись вниз, сматывая сдёрнутую за собой верёвку, дед Миша отошёл от зарода, оглядел плод своего и нашего труда.

– Но, корове хватит, – по тону чувствовалось, что дед доволен.

– Но. На осень копёшку всё одно надо, – миролюбиво отозвалась подскре- бавшая остатки сена баба Катя.

– Но... Накосим.

Слушая этот мирный диалог, я не верил своим ушам. Ещё раньше я заметил, что чем ближе к концу работы, тем добрее становилась баба Катя. После обеда она уже ни разу не ругала деда. Это было невероятно.

...Висел над полянами, золотил ёжик скошенной травы свет вечернего солн- ца. Уставшие, но довольные, почти счастливые, мы погрузили на телегу инстру- мент, фляги, прочее покосное имущество, свернули стан, целый месяц бывший

нашим с дедом вторым домом. Когда уже рассаживались, кто на мотоцикл, кто на телегу, я ещё раз, на прощание, оглянулся. Посреди опустевшего лога, облитые позолотой вечернего солнца, отбрасывая длинные, до дальнего колка, тени, стояли два высоких красавца-зарода...

И вдруг стало грустно, что всё кончилось.

\* \* \*

Давно нет на свете деда Миши: тихо, как и жил, ушёл он в землю, на которой работал зиму и лето, ушёл в солнце и ветер, в белоголовник и иван-чай. На могиле, как участнику Великой Отечественной, от райвоенкомата ему поставили памятник со звездой.

Давно нет и бабы Кати... Мирно лежат они на кладбище на увале за деревней и больше не ссорятся.

Заброшен, зарос осинником, сорной травой их покос, как и большинство других покосов. Повыводили в деревнях коров, а кто держит – предпочитают покупать сено тюками. Да и само тысячелетнее искусство ручной косьбы уже почти умерло. Мы с дедом, наверное, были «последними могиканами», кто косил покос вручную.

Но осталась память. Как живые, вижу родные лица, буйное разнотравье лесных полян, горячее июльское солнце... А рядом с ним, чуть заметный в бездонной синеве, кружит ястребок.